

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

X

НЬЮ-ИОРК

1945

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЫТАРСТВА ЧЕХОВА

«Я Щедрин нового открыл!» — провозгласил как-то в начале 80-х годов прошлого века Н. А. Лейкин.

Сам Лейкин представлял собою классический тип «смешного писателя». Он пользовался огромным успехом среди наименее требовательных читателей (любителем его рассказов был... император Александр III). Рассказы эти обычно короче воробьиного носа, изобиловали элементарно-забавными положениями и бывали щедро уснащены разными смешными словечками: «насыпь-ка еще лампадочку» (вместо — налей рюмку водки), «эрундия», «червь червящий» и т. п. Совершенно феноменальна была лейкинская плодовитость: в день 30-летнего юбилея его писательства было подсчитано, что из под его пера вышло — с е м ь т ы с ь ч рассказов!

Щедрин Лейкину, повидимому, представлялся таким же «смешным писателем», как он сам, только пофундаментальнее, и поскучнее. Впрочем, было время, когда люди, не ему чета, а такие, как Писарев, не умели у Щедрина разобрать ничего, кроме «цветов невинного юмора».

Когда впоследствии литературная критика стала проводить параллели между Чеховым и Буниным, первый написал последнему: «а мы с вами похожи, как борзая похожа на гончую». Можно было бы сказать, что на Щедрин Чехов походил, как изящный пойнтер на угрюмого клыкастого волкодава. В одном из своих писем к Плещееву Чехов писал о Щедрине: «Это была крепкая, сильная голова... Тот сволочной дух, который живет в мелком, изможденничавшемся духовно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Так метко уловить т о н писаний Щедрин могла тоже только «крепкая, сильная голова». Однако, нельзя не отметить и однобокости его характеристики. Очевидно «что у кого болит,

тот о том и говорит». Чехов начинал свою литературную деятельность в среде, которую он должен был бы по щедрински презирать, но которую он долго выносил, от которой не скоро освободился. Вообще для понимания многого в его жизни не нужно забывать, что он был человеком очень запоздалого и затрудненного внешними обстоятельствами общего развития. Ему приходилось вечно мучиться потребностью нагнать упущенное с самого начала жизненного пути. Его история, как писателя — история постоянного и сильного роста, — осложненного вечными болезнями роста...

Некоронованный король того полуподвального литературного этажа, в котором гнездились все эти «Развлечения», «Стрекозы» и «Будильники», застал Чехова как раз на одном из его жизненных распутий и взялся быть его гидом по неведомому для него лабиринту писательского мира столицы. Для Лейкина было обычным делом «выводить в люди» таких конфузливых новичков, посвящая их в несложные таинства своей юмористической кухни. Не ему было дано заметить, что то отношение к жизни — легкое и веселое — которое у него самого, чеховского учителя и патрона, давно уже приняло устойчивые формы профессионального шутовства, у Чехова было лишь временным опьянением. Не Лейкину было заметить, что на дне Чеховского юмора таился привкус горечи и лермонтовского раздумья: «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка». Мягкая податливость чеховской натуры завершала оптический обман. Старый, опытный литературный «смехач» принялся по своему образу и подобию формировать молодого, готовя в нем себе «смену» и, в конце концов, успев к нему даже привязаться.

Это некоторое патриархально-сердечное влечение к попавшему в его руки юноше не мешало, конечно, Лейкину исполнять по отношению к нему функцию оборотливого «хозяина». Обучая его писанию «в легком жанре», Лейкин не упускал случая внушительно напоминать ему, что «подписчик «Осколков» — особый подписчик, он хочет юмористики, веселых сенок — сатирических, или же шуточных и шаловливых; а мы и так уж не ту ноту тянем: раздаются жалобы на серьезность». Он заказывал Чехову то «разных литературных разностей», то «мелочишек»; учил — «к лету завести дачную шарманку», к зиме — убрать ее до будущего года; а мимоходом поставлять и просто «рассказы на затычку».

И Чехов исполняя усердно все и всяческие заказы: как сам он однажды выразился, «перепробовал все, кроме стихов

и доносов». Лейкин его поощрял: «это ничего. И печь разные хлеба печет». Когда же бывал недоволен (если, например, в горячее для подписки время ему случалось видеть подписанные Чеховым «мелочишки» на страницах других, конкурирующих с его «Осколками» юмористических журналов) то выговаривал ему, поясняя, что «как бы ни был плох сотрудник, — а вы, в с е - т а к и, сотрудник талантливый» — но и у него заводятся привыкшие к нему читатели, и появление его где то на стороне «все-таки» журналу вредит. Он умел во время ввернуть, что через «Осколки» Чехов вообще выйдет в люди, как, например, уже успел попасть в «Петербургскую газету» Пастухова; а чтоб сотрудник не слишком зазнался, любил порою — сохраняя покровительственный тон — и потреть его текущие работы, примерно, так: «Ваша «Помеха» очень плохая мелочишка, ровно ничего не выражающая, но она все таки пойдет; «Дипломатия» — тоже подгуляла, но тоже, при случае, уйдет; Святочный рассказ «Сон» очень мистично, но попробую несколько исправить»... И Лейкин и с п р а в л я л Чехова! Не щадили его авторского самолюбия и в «Стрекозе», где по его адресу в «Почтовом ящике» журнала находили время от времени такого рода назидания или милые шуточки: «Повторяете всем надоевшие темы», «Нельзя писать без критического отношения к своему делу...» и т. п.

Часто удивлялись несерьезности псевдонима «Антоша Чехонте», под которым Чехов публиковал ранние свои опыты. Происхождение его захолустно-таганрогское: подобными смешными кличками наделял там всех учеников гимназический батюшка. Но на какую другую ее переменить? Чехов попеременно бывал и Балдастовым, и Антонсоком, и Братом своего брата, и Улиссом, и Вспыльчивым человеком, и Врачем без практики, и Человеком без селезенки... Рядом с ним в виде Агафопода Единицына печатался его брат Александр, в виде Эмиля Пупа — приятель его Сергеевко; в виде Емели Золя — другой его приятель, московский всезнайка дядя Гиляй (Гиляровский); рядом подвизались разные Мефистофели из Хамовников, и т. п. Все это была типичнейшая богема, перебивавшаяся изо дня в день, с хлеба на квас. В архиве Чехова был найден счет из «Стрекозы», по которому за ш е с т ь рассказов из 645 строк, ему причиталось получить — тридцать два рубля с четвертаком, т. е. по пятачку за строчку. Да и эти гроши выплачивались неаккуратно — так, ему приходилось ходить в Будильник за какой нибудь трехрублевкой раз по десяти — «сколько сапог, бывало, истреплешь прежде, чем удастся

получить!...» Иные издатели платили натурой — то билетами в театр, то обедами в кухмистерской, то даже запиской к портному, чтоб сшил штаны в долг за счет редакции... Лейкин все же сравнительно с ними награждал по царски: и платил двумя-тремя копейками за строчку дороже, и знал искусство привязывать — точнее, закабалить — нуждающегося сотрудника авансами. А в записной книжке расходов Чехов в это время отмечал каждую воблу или две-три рюмки водки за обедом, как жизненное роскошество и как безумное финансовое мотовство. Чехов выколачивал деньги и для себя, и для семьи, и, порою, для незадачливых приятелей: брал у них статьи, подписывал для легкости помещения в печати своим именем и передавал авторам гонорар...

Вот из какого опыта черпал молодой Чехов свою оценку среды, в которой увяз с головою на целые годы. «Газетчик — писал он брату Александру — значит по меньшей мере жулик. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю, и, говорят, издали стал походить на жулика, я — газетчик, но это временно; оным не умру!» Но с волками жить — по волчьим выть. И вот, он усваивает себе понемногу тон веселого забулдыги, для которого писанье — не напряженный труд, а легкодумная забава. Процесс своего творчества он порой описывает так: «Лежишь эдак на диване в веселом подпитии, — ан, глядь, и взбредет что-нибудь в голову». Священник Григорий Петров подтверждает это, так передавая слова самого Чехова:

«Я писал, как птица поет. Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я мог писать, когда угодно. Я, как молодой теленок или жеребенок, выпущенный на зеленый и светлый простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головой. Смеялся сам и смешил окружающих. Я брал жизнь, и не задумываясь, тормозил ее туда и сюда. Щипал ее, щекотал, хватал за бока, тыкал пальцем в бока, под грудь, хлопал по животу. Было самому весело, и со стороны, должно быть, было смешно...»

Неудивительно, что хотя молодой Чехов не достиг лейкинских рекордов, однако, вздумав раз подсчитать, сколько им написано рассказов за истекший год, он насчитал более сотни. По рассказу на каждые три-четыре дня существования! «Рукописей я не перебеляю: я пишу обыкновенно на отмашь!» — сознавался он. Однажды он написал целый рассказ в купальне, лежа на животе и не подымаясь, пока не закончил. «Я писал безмятежно, словно блины ел!» — полушутя, полуконфузясь

писал он приятелям. И скоро почувствовал, что зашел в тупик. В одном из его писем к Лейкину читаем: «Все праздники я жил лился, напрягал мозги, пыхтел, сопел, раз сто садился писать, но все время из под моего «бойкого» пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, так что я не решался посылать их вам, чтобы не конфузить своей фамилии...». Такие случаи повторялись, и, едва закончив первую «пятилетку» газетной и мелко-журнальной работы, он подводит жуткий итог: «Весь исписался и чувствую себя на бобах. Пройдет 5-6 лет, и я не в состоянии буду написать одного рассказа в год...»

*
**

Чехов, конечно, глубоко ошибался. Следующие 5-6 лет — вторая пятилетка его журнальной работы — была подъемом на значительно высшую ступень и по условиям писания, и по настроению. Его голову впервые озарили лучи литературной славы.

Для самого Чехова поворот начался с того, что он вторично «открыт» — на сей раз уже не королем литературных скоморохов, а настоящим, и даже «маститым» писателем: то был Д. В. Григорович. Правда, он был тогда уже светилом, «на ущербе»; размагниченным эпигоном 60-х годов, державшим курс на суворинское Новое Время. Но за ним оставалось в рядах либерально-народолюбивых кругов почетное место, завоеванное когда то его «Антоном-Горемыкой», — романом, который вместе с последовавшими за ним «Рыбаками» у нас сыграл приблизительно одинаковую роль с «Хижиной дяди Тома» в странах англосаксонских. В сущности, Чехов литературы этого рода тогда не жаловал; в письмах от него не мало доставалось брату за то, что из глаз его «мадам Бичер Стоу выжимает слезинки»; а вот он — так после чтения ее книг чувствует себя, «как будто через меру наелся изюму или коринки». Но то была далекая Бичер Стоу, а Григоровича третировать подобным образом Чехов не решался. Григорович говорил ему, к тому же, что у него настоящий талант, что он себя мало ценит, зря разбрасывается и «пишет в один присест»; пророчил ему, при более вдумчивом отношении к себе, ряд произведений истинно художественных.

Получив письмо такого рода, Чехов сначала совершенно растерялся. Он впоследствии говорил, что первые дни «ходил, как в чад» и «едва не заплакал». В таком же чад» написал он с разбегу и ответное письмо. В нем он называл Григоровича

«добрым, горячо любимым благовестителем», извинялся за длину ответа (не пространного) и просил «не вменять в вину человеку, что он в первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу». Впрочем, далее письмо приобретало более серьезный характер: с него начинается серия все более глубоких попыток авторской самоисповеди. Он сознавался: «доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря; не помню ни одного своего рассказа, над которым бы я работал более суток. Писал, как репортеры пишут свои заметки о пожарах: машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о самом себе». «Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь пред чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. За пять лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать!» Впервые, быть может, Чехову пришлось оглянуться на себя, и обрести в себе то, о чем он впоследствии вопиял и Суворину: «Душа моя просится вширь и ввысь; но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Душа изныла от сознания, что работаю ради денег, ноющее чувство делает в моих глазах писательство мое занятием презренным: я не уважаю того, что пишу...»

Григорович подвернулся Чехову во-время и сыграл в его литературной жизни не малую, хотя и случайную, мимолетную роль. Если Чехов думал найти в нем настоящего литературного крестного отца вместо Лейкина, он глубоко разочаровался. Он открыл в нем какие-то «лисьи и барсучьи черты», велеречивую неискренность его об'ятий, поцелуев и уверений, будто любит Чехова, как родного сына; кажется, он опротивел ему и тем, что после поездки Чехова на Сахалин, сыгравшей в духовной жизни «Пушкина в прозе» крупную роль, Григорович заинтересовался ею с очень специальной стороны: «все просил рассказать про японок». Повидимому, это было очень уж обнаженно и не-эстетично, ибо Чехов особой "pruderie" не страдал. В литературном отношении так же, как Лейкин, который все ставил Чехову на вид, что «выводит его в люди», протаскивая его в «Петербургскую Газету», — Григорович оказал Чехову опасную услугу, отправившись к Суворину и долго приставал к нему: «да пригласите же в сотрудники Чехова! Грешно Чехова не пригласить!»

Григорович «открыл» Чехова в 1886 году, и в том же году

первая написанная им большая вещь — «Степь» — обратила на него внимание большинства крупных литераторов того времени. Плещеев свидетельствует, что Короленко, как и он сам, начав читать «Степь», не могли от нее оторваться; Гаршин был от нее без ума, и прочел два раза подряд; «это такая прелесть — писал Плещеев автору — такая бездна поэзии. Я в безумном восторге и предсказываю Вам блестящую будущность!»

Но это для Чехова уже не имело прелести новизны и внезапности. Ближайшая поездка его в Петербург была триумфальной. В Петербургской газете его принимали «как шаха персидского». Во всех литературных салонах его «воспевали, приглашали». Будь он хоть немного склонен к тщеславию, у него закружилась бы голова; но его спасал здоровый природный ум и чувство юмора. Братьям он отдавал отчет, как там-то «катался в ландо и пил шампанское, и чувствовал себя прохвостом», а там-то «пил и ел, как в старосветской усадьбе»; как везде «купался в славе и нюхал фимиамы» и даже стал «учиться говорить генеральским басом». И тут же заключал: «мою дребедень читает весь Питер». От множества новых литературных знакомств у него пестрило в глазах и, кажется, порою все они для него сливались в какое то одно многоликое существо; одним духом сообщает он, что ежедневно видится с Сувориным, Бурениным и др., и что тогда-то пробыл четыре с половиною часа с Михайловским, Глебом Успенским и Короленко: «пили, ели и оживленно б о л т а л и »...

Но где есть лавры, там есть и тернии. На Чехова произвела тогда очень сильное, долго не сглаживавшееся в памяти впечатление одна журнальная о нем заметка. Позднее он Бунину, для иллюстрации того, как мало дала ему литературная критика, ядовито писал: «Мне один критик пророчил, что я умру под забором». В письме к Горькому он назвал имя этого критика: «Скабичевский... написал, что я умру в пьяном виде под забором».

*
**

Нависла ли действительно над головой Чехова опасность алкоголизма? Дошли ли до Скабичевского какие либо сведения о нем и о среде, в которой он жил?

От запойной стихии в России погибло не мало талантов. Вспомним хотя бы Полежаева, Помяловского, Щапова, Решетникова, Мея, Аполлона Григорьева, Минаева, Якушкина, Курочкина! Говоря о трагической гибели своего двоюродного брата

Николая, Глеб Успенский писал: «Пьянство было чем-то почти неизбежным для тогдашнего талантливое человека». В наши дни историю такой гибели повторил Есенин. Среди друзей Чехова того времени было не мало пьяниц (например, поэт Пальмин). Об одном из своих братьев Чехов писал: «брат Александр гораздо талантливее меня, но — он погибает от пьянства». Трагическую историю этой гибели дал в своих воспоминаниях его сын М. А. Чехов. Этого выдающегося человека, совершенно неспособного гнутья, жизнь сломала. В противоположность ему Антон, натура гибкая, эластичная, как будто всему поддающаяся, но упорно выпрямляющаяся, все преодолел. Он мог погрузиться в омут, и выйти из него неиспачканным, сходиться с циниками и не утратить свежести, поддаваться влияниям и сохранить внутреннюю свободу. Он пил, как все в его кругу, но его богатырская натура все преодолевала. Немирович-Данченко вспоминал, как Чехов «выпивал бутылку шампанского, и не пьянел; потом выпивал бутылку коньяку, и тоже не пьянел».



Скабичевский, трудолюбивый историк русской литературы (его «Очерки по истории русской цензуры» и посейчас не потеряли своего значения) отнюдь не был крупным литературным критиком. Если Чехов был сильно задет его отзывом, то и Скабичевский принял не мало волнений за-за того, что считал простым недоразумением; и не раз искал потом случая упомянуть, как он ценил Чехова и как чуть-ли не первым стал энергично опровергать взгляд на него, как на писателя «безидейного». В своей статье о Чехове он писал, что чеховские рассказы произвели на него грустное впечатление «не потому, чтобы они были плохи, а напротив, именно потому, что весьма многие из них изобличают молодой, свежий талант, не лишенный чувства наблюдательности». В чем же дело? А в том, что, по Скабичевскому, Чехов стоит на краю пропасти, и его может поглотить один из «литературных омутов», поглотивших уже не мало жертв. «Таланты, которые при иных условиях могли бы расцвести пышным цветом» — попав в эти омуты — «губятся, обращаются в смехотворных клоунов для потехи праздной толпы. Сперва газетным работникам сопутствует успех, но переутомление берет свое, и газетный писатель начинает повторяться, теряет популярность, — и дело кончается тем, что он обращается в выжатый лимон; и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь

под забором, считая себя счастливым, если товарищи пристроят его на счет литературного фонда в одну из городских больниц...»

Дело простой справедливости установить, что в статье Скабичевского есть предупреждение против литературных омутов, которые и Чехов рисовал совсем не в более розовых красках, но нет никакого предсказания о личной судьбе Чехова. Но несомненна крайняя резкость его отзыва, едва ли смягчаемая признанием, что «в качестве клоуна он держит себя очень скромно и умно в том отношении, что не впадает ни в какие скабрёзности... чужд и пасквильного элемента — не льстит, одним словом, никаким низменным инстинктам толпы...»

Правда, и сам Чехов не менее отрицательно отзывался о начале своей литературной работы. Бунин занес в свою записную книжку чеховское восклицание: «Ах, с какой чепухи я начал, Боже, с какой чепухи!» Или вот что писал Чехов Л. А. Авиловой, переписывавшей для отдельного издания рукописные копии его ранних произведений: «О, ужас, что это за дребедень! Читаю и припоминаю ту скуку, с какой писалось все это во времена оны. Перелистываю и читаю в них с отвращением жизнь мою...»

Есть, однако, вещи, которые можно сказать о самом себе, но никто не имеет права сказать их о другом.



Нам, знающим Чехова выпрямившимся во весь свой рост, теперь даже плохо верится собственным глазам, когда читаешь такое «Объявление зубного врача Гвалтера». «Вставляю зубья, продаю сочиненный мною толченый мел для циски зубьев и имею самую большую вывески. Вижиты делаю с белым галстуком». Увы, есть такие нотки даже в очаровательной «Степи», в грустном и серьезном «Перекасти Поле», в «Тине». Даже в «Иванове» известный монолог содержит слова: «не женитесь вы ни на психопатках, ни на еврейках, ни на синих чулках!...» Сближение обидное. Даже в прекрасном рассказе «Скрипка Ротшильда» Чехов не чуждается тех же приемов имитации еврейского акцента.

Для одних этого, пожалуй, будет достаточно, чтобы наделить Чехова кличкой антисемита. Но это будет грубою ошибкой. Чего в Чехове ранней поры отрицать нельзя — это бессознательной имитации «бытовой» квази-антисемитизма. Но

подлинный антисемитизм предполагает обдуманную постановку вопроса: является ли еврейская национальная стихия по внутренней природе своей врагом моих идеалов, и требует ли она ответной враждебности с моей стороны? Лишь на почве положительного ответа на два этих вопроса может вырасти идейный, политический и морально-правовой антисемитизм. А Чехов той поры подобными вопросами даже и не задавался. Их ребром поставила перед Чеховым жизнь лишь много позднее, когда по всей Европе стало греметь дело Дрейфуса, резко деля повсюду общественность на два неуждливо и непримиримо враждебных лагеря. И тогда Чехов, не колеблясь, постиг по какой из сторон баррикады его место. Жертвуя многими личными привязанностями, разрывая самые, казалось бы, прочные литературные, общественные и персонально-дружеские связи, он волнуется, оспаривает, обличает, язвит и клеймит юдофобию иностранного антидрейфусизма, как его русских копий и вариантов. О каком же антисемитизме может тут быть речь?

С другой стороны можно было бы сказать: разве всего, что описывает Чехов нет в действительности, вплоть до режущего русское ухо еврейского акцента? А если все это есть, то почему же можно запретить перенести все это и в литературу, почему нельзя направить на них того холодного и безучастно-точного фотографического аппарата? Какая от этого еврейству беда, если отрешиться от чрезмерной обидчивости?

Но вопрос поставлен неправильно. Искусство — не фотография. Чтобы сравниться в бесстрастии с фотографическим аппаратом, художник-беллетрист должен «заморозить свое сердце», оравнодушиться к тому, что пред ним происходит. Ведь и человека, выкинутого из окна четвертого этажа, можно рассматривать с точки зрения нелепо разметававшихся фалд и бесполезного дрыгания ног. Пусть даже еврейству нет большой беды от грубоватого окаррикуатуривания оборотов речи Гвалтера. Но велика наша собственная беда с порчей нашего цельного и гармоничного образа Чехова, как натуры в высшей степени тонкой, чуткой и внутренне деликатной.

Чехов из «Стрекозы» и «Петербургской Газеты» попал в веселый вертеп «Нового Времени». Прodelать это странствие так, чтобы спасти белоснежную чистоту риз и не замарать их ни единым пятнышком невозможно и ангелу. Самое большее, чего можем мы требовать от человека — это желания смыть эти пятна без остатка. В недостатке этого желания, и самого страстного, мы имеем право заподозрить кого угодно — но не Чехова.

Чехов продолжал, по его выражению, «рукопожиматься» с Бурениным, даже после вызвавших всеобщее возмущение клеветнических нападок его на поэта Надсона. Для него движение протеста учащейся молодежи против клеветнической травли газетой курсисток было только «галдеж». Он протестовал против «шипенья» по поводу его сотрудничества в ней. Сравнивая «Русские Ведомости» и «Новое Время», он писал, что первая газета «битком набитая, сухая, стерегущая свой несуществующий тон и признающая в людях прежде всего форму и вывеску»; и сам упрямо писал Суворину: «Мои доброжелатели-критики радуются, что я ушел из «Нового Времени». Надо бы, поэтому, пока радость еще не охладилась, возможно скорее напечатать что-нибудь в «Нов. Времени»...»

И может быть, самые ужасные строки мы найдем в письме к Суворину 1-го Августа 1892 года по поводу «холерных бунтов»: «Говорят о каких то прокламациях и пр. Говорят, что литератор А. приговорен к 15-летней каторге. Если наши социалисты в самом деле будут эксплуатировать для своих целей холеру, то я стану их презирать». Читатель нынешнего поколения едва ли помнит, что этот А. — известный в свое время автор книги «В волостных писарях» — писатель-народник Астырев. Он, действительно, выпустил в 1892 году «Письмо к голодающим крестьянам». Но слова Чехова вызваны легковверным принятием ужасающей клеветы, аналогичной той, благодаря которой был осужден в свое время на каторгу Чернышевский.

Чехов, доходя до пределов политической наивности, доверяя чисто «геббельсовской» пропаганде «Нового Времени», забывал, что первой жертвой холерных бунтов становилась та же интеллигенция, которая якобы к ним призывала!

Впрочем, Чехов и сам знал о своей политической наивности и со своей обычной прямоотой писал о себе в 1888 году: «Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет: я меняю его ежемесячно». Он и год спустя чувствует: «мне нужно учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда...»

Он чувствует, что ему надо вернуть себе духовную свободу, утраченную в лейкиных литературных пустырях и литературном «доме свиданий» «Нового Времени».

Он — натура, медленно и скрытно от чужих глаз перерабатывающая все в себе. Вечно свершаются в нем какие то сокровенные молекулярные изменения, пока их не накопится довольно для целой духовной революции. И она — тем круче

и решительнее, чем дольше длилось подчинение фетишам, вера в которые все раскачивалась.

И вот, наступил момент, когда он почувствовал:

«По убеждениям своим я стою за 7375 верст от Жителя и Ко. Как публицисты они мне просто жалки... Буренин — злое желтое от зависти животное. Новое Время — просто отвратительно. Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвост шакалов, это черт знает, что такое!»

С этого началась интеллектуальная эмансипация Чехова, пора его великого и драматического духовного выпрямления.

Виктор Чернов.